

Магазин был замечательный. Как сегодня говорят, супер в тренде. Нет, это я не о том магазине, который у собачьей площадки, справа от помойки, а который на углу нашей улицы, Пестеля, и Юных Пионеров. Особенно великолепен был мясной отдел. Колбаса — всегда! Даже при Советской власти! Правда, тогда в ассортименте имелась только одного сорта — ливерная, но такая скромность (если не сказать — аскетичность) выбора нас, тогдашних, совершенно не напрягала. Ливерушка как закуска к портвейну «Три семерки» не имела себе равных по соответствию этому благороднейшему напитку! Кстати, тогда она стоила пятьдесят восемь копеек. Сейчас — двести десять. И не копеек, а рублей. Это насколько же ливер подорожал?!..

Продавщицей в мясном отделе работала некая Клава. Фамилию не помню (кажется, Кукушкина). Клава и Клава. Клавочка-Клавуня. Красавица с выраженными пышными формами. Вероятно, ее разносило так из-за постоянной близости к мясу. Рост — под два метра. Губки — бантиком. Щечки — булочками. Под носиком — усики. На правом нижнем клыке — золотая коронка. Правый ее глаз задорно смотрел налево и вниз. Левый — строго вверх, без отклонений в стороны. Если кто Клаву впервые видел — от этого ее взгляда робел. Некоторые даже пугались. Но в этом не было ничего трагичного. Это по первости и от робости. Потом привыкали. И действительно: чего такого-то? Ну, ко-

сят глаза, причем одновременно оба. Да, это ненормально. Это изъясн. Но не преступление же! Даже наоборот: была в ее косоглазии какая-то пикантная изюминка. Загадочность, как у Моны Лизы. Какой-то экзотический шарм. Шарм... Шарм-эль-Шейх. Так называется курорт египетский. Клавочка (она сама рассказывала) была там один раз. Во второй не захотела. Говорила, что жарко и мужики все заняты. В том смысле, что разобраны. А которые не занятые, те почему-то пугливые. А с местными связываться чревато (так опять же она говорила — попробовала, что ли?). Запросто можно нарваться на неожиданные неприятности. Местные же такие прожженные ловеласы... Так что нет уж, нет уж. Как говорится, лучше уж вы к нам.

Кстати, по слухам (слухи — самый надежный источник информации!) Клава не всегда обладала таким экзотическим видом своих глаз. По этим самым слухам в молодости они у нее были совершенно безупречны. То есть смотрели нормально и синхронно. Как у всех. А разлетаться в разные стороны они начали после того, как Клава сходилa замуж за какого-то матроса. Который увез ее из нашего города на Дальний Восток, откуда через год она вернулась уже одна. То есть не совсем одна. С ребенком. Но без матроса. Он ее там, на Дальнем Востоке, изрядно лупил. А потом его то ли зарезали в пьяной драке, то ли он ушел в плаванье и утонул, то ли сбежал к японцам. В общем, мужиком оказался куда как веселым. С таким не соскучишься. Хотя глаза запросто можно испортить. На постоянно нервной почве.

У Клавы была подруга, Милочка. Она работала в хлебобулочном, и сама была похожа на аппетитную булочку. Почему-то ее, в отличие от Клавы, никто замуж не звал. Даже матросы. Даже дерущиеся. Почему не звали — загадка. Она же была хорошая, эта хлебобулочная Милочка!

Улица же наша, которая Пестеля, начиналась здесь, у гастронома и, проскочив между домами, сараями, задами складских помещений железной дороги и высоченным, метров под пять, и совершенно глухим забором психиатрической лечебницы, выскакивала напрямик на железнодорожную платформу, между баней и привокзальной общественной уборной. Баня была великолепной — жаркой и грязной, и мы, пестелевцы, регулярно там мылись и парились. Запомнилось, что горячая вода в бане была не просто горячей, а самым настоящим кипятком, потому что нагревалась подключенным к бане паровозом.

Уборная же великолепием не отличалась. Это было скучное, выкрашенное ядовитого светло-зеленого цвета краской, вытянутое вдоль платформы строение с двумя дверями по бокам. На одной двери была написана буква «М», на другой, соответственно, «Ж». Буквы были большими и четкими, что придавало им строгость и изначальную значимость. И никаких излишеств. Здесь туалет, а не, скажем, консерватория. Надо же понимать. Надо же различать.

Обстановка внутри уборной также угнетала: половина пола, та, которая ближе к двери, была выложена грубой керамической плиткой и у стены имела желоб для малой нужды. Вторая половина, более удаленная от входа, представляла из себя невысокое деревянное возвышение с прорезанными в нем большими черными отверстиями. Это сооружение имело очень неприглядный вид, так как не все посетители отличались воспитанностью.

Дополняло все это «народное творчество», щедро представленное на здешних стенах рисуночными изображениями и похабными надписями. Поскольку эта «наскальная живопись» периодически уничтожалась здешним обслуживающим персоналом, то тут же, подобно птице Феникс, возрождалась вновь. Возмущаться ею было бесполезно и бесперспективно. Да никто и не возмущался...

Логичным дополнением ко всему этому был ядреный аромат концентрированной хлорки. Железнодорожники ее не жалели, нет! Вероятно, они опасались эпидемических заболеваний, которым хлорка, как известно, первый враг и лучший убийца! От ее запаха кружилась голова и щипало в носу. Да, это было не совсем эстетично, зато стопроцентно гигиенично.

На середине улица расширялась, округлялась и трансформировалась в некую то ли лужайку, то ли площадку, то ли большой уличный двор. В примыкающем к железнодорожным складам закуте двора, под старыми бесхозными яблонями, стоял большой деревянный стол со вкопанными в землю тумбами-ножками. Здесь играли в домино и карты, пили водку и портвейн, ругались и мирились. Стол был символом уличной жизни и оплотом мирного сосуществования.

Вечерами около него появлялся Васька Чуев. Он приносил гитару и пел:

*— А на дворе — хорошая погода.
В окошко светит месяц молодой.
А мне сидеть еще четыре года.
Душа болит и просится домой.*

После чего переходил на исполнение частушек, зачастую совершенно скабрзного содержания... Мужики угощали Ваську папиросами «Беломорканал» и сигаретами «Дымок», поскольку у него самого курева никогда не было. Васька никогда не работал, зато время от времени, как он сам говорил, «присаживался». Сажали его всегда за воровство и давали немного, года два — три — четыре. «Не можешь — не мучайся», — говорил ему дядя Петя, старый вор, живший ближе к пустырю, у водонапорной колонки. То есть не умеешь воровать — не берись. Васька воровать не умел, поэтому его всегда ловили. Одно его оправдывало: воровал всегда у государства. На складах, по цехам и

магазинным подсобкам. Если бы воровал у нас по домам, то так легко не отделялся бы. Убили бы. На улице за крысятничество расправлялись сразу и жестоко. Были случаи, были трупы. Милиции не выдавали убийц. Круговая порука.

Самым азартным доминошником был Шурик Козелупов, а самым спокойным — Виль Петрович. Его настоящее имя было Вилли. Он в войну под Сталинградом попал в плен и отбывал его у нас в городе, на машиностроительном заводе, потому что по профессии был токарем. В Германию не вернулся, женился на нашей местной, Маше, дочери Петра Игнатъича Спиридонова и продолжал работать все на том же машиностроительном. Со временем окончательно обрусел, и хотя акцент сохранился и выдавал в нем уроженца иностранной державы, никто из уличных его иностранцем, конечно, не считал. Тем более что Виль Петрович был великолепным матершинником, матерился легко и приятно для слуха, а все тот же акцент придавал произносимым матерным словам утонченную пикантность.

И уж коли заговорили о разных нациях... Улица в вопросах интернационализма проявляла свойственные, пожалуй, только лишь нам, русским, великодушие и, как сегодня говорят, толерантность. Кстати, соседом Вилия Петровича был Соломон Израильевич. Это тоже был в своем роде примечательнейшим человеком. Маленький, но цепкий, говорят про таких в народе — и говорят совершенно правильно: Соломон Израильевич, имея рост метр пятьдесят восемь сантиметров, выделялся просто-таки выдающейся потенцией, что подтверждали несколько женщин, а в первую очередь его супруга Тамара Моисеевна, женщина огромная по габаритам и совершенно вздорная по характеру. Периодические измены мужа ее ничуть не огорчали, поскольку в этом отношении она и сама имела немалый опыт, приобретенный еще в юности, когда Тамара Моисеевна работала официанткой в офицерской столовой некоей воинской части в так называемой ГСВГ (Группа советских войск в Германии).

И в продолжение сексуальной темы. Была еще тетя Рая. Она жила в маленьком домике за помойкой и считалась падшей женщиной, потому что водила в этот симпатичный домик разных симпатичных и не очень мужчин. На улице ее за это не осуждали. Улица вообще была очень терпимой к человеческим порокам. Тетя Рая носила красивые платья, ярко красила губы и смеялась неприятным басом (такой смех называется вульгарным — это определение я уже потом узнал, когда повзрослел).

— Ну, чего, Райк? — весело спрашивал ее дядя Петя.— Нагулялась?

— Нет пока исчо,— жеманно собрав губы в дудочку, отвечала тетя Рая.

— Ну, гуляй-гуляй,— милостиво разрешал дядя Петя.— Смотри тока заразу не подцепи.

Однажды летом тетя Рая уехала с очередным мужиком на южный курорт и оттуда уже не вернулась. На улице говорили, что этот самый ухажер там, на курорте, ее к кому-то приревновал и зарезал. Такой поворот тети-Раиной судьбы никого не удивил. Все бывает. Кого давят, кого режут, третьи сами помирают. Действительно, судьба! Другие с жаром уверяли, что никто Райку не резал, а совсем даже наоборот: этот то ли грузин, то ли турок, с которым она уехала, купил ей на побережье симпатичный домик, в котором Раиса сейчас и блаженствует. И эта версия тоже имела право на существование и тоже никем не отвергалась и не оспаривалась.

Огорода у тети Раи не было, садом она не занималась, зато прямо у калитки рос огромный куст жасмина. Каждый год, с мая по сентябрь, от него исходил такой умопомрачительный запах, что прохожие невольно останавливались, нюхали и качали головами. Странно, но я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь отломил от куста хоть веточку.

Как сейчас перед глазами картина: хозяйки который месяц уже нет, дом стоит непривычно тихий, сиротливый, забытый и заброшенный, покорно смирившийся со своей печальной участью постепенного разрушения — а жасмин по-прежнему цветет бьющим по глазам белоснежным цветом и все так же, по-прежнему дурманит головы, словно бросает вызов судьбе и не желает сдаваться.

Справа от тети Раи, ближе к железной дороге, жила семья Зворыкиных. Примечательна она была тем, что Зворыкины считали себя единственными на всей улице эстетствующими интеллигентами, и по утрам Зворыкина-мама беспощадно орала то ли на Зворыкина-папу, то ли на их сына Стасика, редкостного даже по нашим уличным меркам раздолбая, то ли одновременно на обоих: «А кофий из банки надо брать сухой ложкой! Только сухой! Нет, я с вами точно с ума сойду!» Свое обещание она, в конце концов выполнила: ближе к старости, действительно, выжила из ума и даже несколько раз лечилась в психиатрической больнице, впрочем, с совершенно бесполезным результатом.

Зворыкин-папа, невероятно худой очкарик со взглядом побитой собаки, работал бухгалтером на мукомольном комбинате и ничего оттуда не воровал, что по нашим уличным меркам считалось даже не чудом, а уникальностью. Работать на мукомолке и не тащить — это было за гранью нашего понимания.

Их сынок, раздолбай Стасик, то ли в девятом, то ли в десятом классе неожиданно для всех стал комсомольским лидером, после школы по комсомольской линии поступил в педагогический институт, но его не окончил, потому что с третьего курса уехал в Москву и стал слушателем суперсекретной кэзгэбэшной школы. Далее слухи разнятся: одни говорили, что он оказался предателем, был разоблачен и тайно рас-

стрелян в подвалах Лубянки. Другие с жаром уверяли, что никто его не разоблачал и не расстреливал, а совсем наоборот: Стасик ту школу успешно закончил и был заслан за рубежи нашей Родины, шпионичать в одной из развивающихся стран. Сделал там головокружительную карьеру, и от простого-рядового шпиона дорос до целого шпионского резидента. Впрочем, это были уже детали. Главное, что в той суперсекретной школе он наверняка прошел специальный курс западных манер поведения в быту и поэтому наверняка научился на радость своей психиатрической маме пользоваться насухо вытертой кофейной ложкой.

И уж коли говорить о заграничах и шпионаже: ближе к вокзалу, в маленьком домике с большой деревянной терраской и покатою крышей, жил Пал Анисимыч. Он всю жизнь проработал по дипломатической линии: возил на машине то ли нашего посла в Америке, то ли кого из его подчиненных. Бывало, спросишь его: «Пал Анисимыч! А как они там живут? Вообще-то как? Продуктивно?» А он в ответ задумается, этак многозначительно в воздухе пальцами покрутит и отвечает всегда односложно: «А чего ж им? Продуктивно, да...» — «В каком,— спрашиваю,— смысле?» — «В обычном,— отвечает.— В физиологическом. Как утром просыпаются — первым делом продуктов своих американских высококалорийных нажрутся — и тут же начинают свои американские сношения. И никакого прям стыда, и никакого на них, тварей, народного контроля...» Да, большого ума был человек! Когда там, в Америке, работал, то водочкой увлекаться остерегался (как можно! — находился в самом главном логове идеологически враждебного стана, и коварные цэрэушники враз могли подловить на алкогольном увлечении, хоть работаешь ты простым шофером и по дипломатическим табелям о рангах есть ты никто и зовут тебя совершенно никак!), а вот как на пенсию вышел — расслабился, увлекся. Через это расслабление и помер. Да и чего удивительного? Проспиртовываться надо постепенно, месяц от месяца, год от года, чтобы организм привык и душевно спиртовую благодать прочувствовал. А если сразу на нее накинуться, по голодному, то недолго и до печального исхода в виде соответствующих этому моменту картонных тапочек и духового оркестра впереди скорбной процессии.

Из уличных баек: в начале шестидесятых годов на улице вознамечился поселиться городская знаменитость — художник Ефим Бутылко (творческий псевдоним — Трофим Пятилеткин). Прославился он раньше, в сороковые — пятидесятые, когда натренировался рисовать партийных деятелей, в первую очередь, конечно, «дорогого Иосифа Виссарионовича». Побудительным мотивом для поселения у нас было стремление Бутылко-Пятилеткина стать ближе к народу, к так называемым широким пролетарским массам. Стремление было подкреплено практическими действиями: художник уже договорился с тетей Машей

Кругловой насчет обмена ее домика на его квартиру, и все вроде бы сладилось-сделалось, но в самые последний момент расстроилось из-за тети-Машиного соседа, Кузьмы Прохоровича Самоедова. Который, пребывая в своем привычном (читай — пьяном) состоянии, отчего-то на художника осерчал и вследствие этого своего огорчения-осерчания избил его. Желание влиться в массы у Бутылко-Пятилеткина сразу пропало, он сказал: «А ну вас, пролетариев!..» — и, как говорится, был таков. Художник поторопился: через месяц Кузьма утонул в городском фонтане, из которого вознамерился попить водички. Вероятно, в тот момент его мучила похмельная жажда, он потянулся припасть к возделенной фонтанной влаге, но не удержал равновесия и свалился в воду. Так нелепо погиб этот скромный герой.

К слову, Бутылко-Пятилеткин был не только городской знаменитостью и достопримечательностью, но и выдающимся конъюнктурщиком: после смерти Сталина он также резво и рьяно принялся рисовать портреты «дорогого Никиты Сергеевича», а когда того уволили со всех его государственных постов, но строительство коммунизма продолжили (правда, уже без кукурузы), он с не меньшим энтузиазмом переключился на изображения товарища Брежнева. Закончилась его художественно-изобразительная эпопея, увы, печально: в какой-то момент все три героических государственных образа в его художественном воображении слились в один и превратились в некий сюрреалистический симбиоз из лысины, густых широченных бровей, усов и курительной трубки. Что Бутылко-Пятилеткин тут же и нарисовал. Власти расценили сей живописный натюрморт как самую настоящую политическую диверсию, направленную поколебать устои, но поскольку на дворе был не тридцать седьмой год, сюрреалиста не расстреляли, а всего лишь поместили в психиатрическую лечебницу. Где он тут же стал редактором больничной стенной газеты, на которой мог вышеупомянутый симбиоз рисовать без всяких карательных последствий, потому что сумасшедший дом — он и есть сумасшедший дом. Таким образом, так и не став жителем нашей улицы, он от улицы далеко не отдалился, поскольку задним забором психлечебница выходила как раз на нашего Пестеля.

Улица заканчивалась домом, в котором жила семья Толстопятовых. Глава семьи, Василий Прохорович по кличке Пупок, как и все вышеназванные жители улицы, тоже был замечательным человеком. Особенно прекрасным он предстал в состоянии подпития (у нас на улице многие выпивали), когда выходил из дома и громко объявлял: «Я вас, тварей, всех наскрозь вижу!» Это сопровождалось поднятым и сотрясаемым в воздухе кулаком. Понятно, что никакого должного эффекта ни грозные слова, ни этот кулак на окружающих не производили. Наверное, потому, что все вокруг были точно такими же «рентгенологами».

Иногда после этого кратковременного спектакля Василий Прохорович уходил домой сам, иногда его уводила супруга, достопочтенная Тамара Марковна. Опять же, иногда уводила его без всяких лишних движений, но, бывало, иногда молча лупила Василия Прохоровича по лицу мокрой тряпкой, которой вытирала посуду. После пары ударов «рентгенолог» быстро приходил в чувство, горбился, сникал плечами и опускал голову. Тамара Марковна вздыхала, гладила его по бритой голове и уводила в калитку. Работал Василий Прохорович продавцом кваса недалеко от нашей улицы, около вокзала, и нас, пацанов, всегда поил бесплатно. Квас был очень вкусным. Это я помню совершенно точно.

А на уличной помойке постоянно кормились бродячие собаки. Мы их все время гоняли, но не от жестокости, а от азарта. Собаки это понимали, поэтому бегали от нас не резво и в страхе, а подчиняясь этой непонятной и совершенно безболезненной для них игре. Однажды весной одна из них сдохла здесь же, в лопухах, и мы, пацаны, вырыли ямку и похоронили ее. Помню, была она маленькая, рыженькая и со смешными остренькими ушами. Детство и отрочество — время формирования жизненных принципов, в которых совершенно непонятным образом сочетаются и жестокость, и азарт, и бездушие, и сострадание к братьям нашим меньшим и к падшим, и память о павших.

А еще на помойку прилетали крупные вороны и такие же крупные галки. Вот их-то мы, действительно, ненавидели, потому что они нахально, прямо из-под носа, воровали объедки у нам дружественных собак.

В самой середине улицы стояла водонаборная колонка. Мы, пацаны, очень любили около нее собираться и поливать друг друга здешней водой. Вода была холоднющая, просто ледяная. Мы визжали, матери ругались, а мужики посмеивались: здоровее будут! А не будут, так помрут! Делов-то!

У Сиротиных на кухне, на полке у печки, всегда стояла трехлитровая банка с так называемым грибом. Он представлял собой этакое медузообразное существо внешне совершенно противного вида, а вода, в которой он плавал, была желтой по цвету и настолько кислой на вкус, что сводило скулы, если пить без сахара. Считалось, что эта желтая вода помогает от всех болезней, и все жители улицы в это почему-то безоговорочно верили. Хотя я не помню случая, чтобы кто-то, действительно, от чего-то этой жидкостью излечился.

Сейчас уже нет ни нашего двора, ни дома, ни стола. Магазина тоже нет. В его здании сейчас располагаются разные конторы (посегодняшнему — офисы). От них, наверное, есть какой-то толк, пото-

му что контор — много, и в каждой сидят люди. Может, даже ответственные работники. Счастья им. И успешных выполнений стоящих перед их конторами офисных задач.

Самой улицы тоже нет. Нас переселили в новый городской микрорайон, а от улицы остался какой-то совершенно несерьезный огрызок в виде прохода к собачьей площадке. Остальная часть перегорожена бетонным забором, за которым находится городской исследовательский центр норм и стандартизаций. Чего-то работники там все исследуют, никак не наисследуются, изображая на своих лицах государственную значимость и глубокомысленную важность. Удачи им и всех благ. И нам тоже. И всем.